

Алла Гербер

А ЖИЗНЬ  
БЫЛА ПРЕКРАСНАЯ!



« Не знаю, как найдет подвиг,  
но в жизни всегда есть место  
празднику! »  
Евфрей Тервьер

Алла Гербер

**А ЖИЗНЬ БЫЛА ПРЕКРАСНАЯ!**

*Разговоры с Еленой Тришиной*

АСТ  
Москва

УДК 94<19>(093.3)

ББК 63.3(0)6.14

Г37

**Гербер, Алла Ефремовна.**

**Г37** А жизнь была прекрасная! [Разговоры с Еленой Тришиной] / А. Гербер. — Москва : Издательство АСТ, 2018. — 421, [3] с. : ил.

ISBN 978-5-17-099413-7.

Это не воспоминания.

Это не размышления.

Это не исповедь.

Это просто разговоры, в которых есть все: воспоминания, размышления, высокая исповедальность. В этих долгих и подробных разговорах литератора и общественного деятеля Аллы Гербер с журналистом Еленой Тришиной перед нами встает картина мира между сороковыми годами прошлого века и веком нынешним. С московским двором и ташкентским двориком за дувалом, войной и папиной ссылкой, журналом «Юность» и театром Петра Фоменко, борьбой с антисемитизмом и депутатством в Государственной думе. Прежде всего, перед нами — очень искренняя женщина: она препарирует историю своей жизни, обнажая в этой книге то, что некоторые люди никому никогда не рассказывают.

*«Я вообще, наверное, не очень везучая, у меня много всякого разного не получалось. Просто воспринимаю жизнь не как трагедию. Это от мамы с папой, а не потому, что я такая. Сколько я болела, скольких потеряла и теряю! Сколько всего плохого было... Но восприятие жизни все равно такое: жизнь, как говорится, прекрасна!»*

Для широкого круга читателей.

**УДК 94<19>(093.3)**

**ББК 63.3(0)6.14**

## ЧЕРТОВО КОЛЕСО

Вольно или невольно, но это — пронзительная книга.

Вольно, потому что это — сознательная исповедь, открытая и беспощадная до последних пределов.

Невольно, потому что причины этой беспощадной откровенности скрыты в подсознании, погружены в хаос страха и финальных сомнений.

И даже несомненное может стать сомнительным — говорит эта книга.

И даже неверие может обернуться верой, которая в свою очередь стремится к недоверию.

Такое ощущение, что разговор в книге продолжается по ту сторону жизни, и вопросы доброжелательного собеседника (Елены Тришиной), предполагающие легкомысленный и необязательный по своей сути жанр милой беседы, обращаются в репетицию страшного суда.

Это суд над прожитой жизнью, и над истлевающим поколением, и над страной, и над временем.

Женщины в России, стоявшие рядом с великим талантом, не раз судили время и место, но здесь мы имеем дело не только со свидетелем, но и с участником жизненного движения.

И книга разворачивается, как ковер. Весь рисунок не виден заранее. Возникает правильная литературная интрига.

Страх — вечный спутник автора, это такой вот общероссийский Вергилий. Но сначала в книге мы погружаемся в знакомый, слишком знакомый российский страх. Страх перед страной, пожирающей своих детей. В большом объеме. Горечь счастья — вот первые переживания. Жизнь без вечернего платья — вот первая часть рисунка этой книги. Нет по бедности вечернего платья, но есть молодые ноги, руки, красивое тело. И неглупая голова. Хороший старт.

Папа сидит, как сидят многие папы России, но Сталина жалко — он умер, и теперь всем конец. Голова неглупая, но еще и не слишком умная.

И вот здесь начинается драма всего поколения. Шестидесятники. Их главная тема — освобождение, страсть к расширению жизненного пространства. Их портретами полна книга. Их симпатичными, дружескими отношениями с Аллой, которая в книге создала свой яркий автопортрет. Но страсть к освобождению, нетерпение мысли, радостный смех по поводу освобождения лишает шестидесятников гораздо более глубокой темы свободы. Они — освободители, а не свободные люди. И когда приходит свобода, не слишком нагая, довольно куцая, но все-таки свобода — они уже не нужны. Их читать неинтересно. Об этом в книге сказано с большой честностью. И только исключения из шестидесятников, вроде Бродского, или просто отдельные мыслители, такие, как Василий Гроссман, — они остаются. Или Анатолий Васильев с его театром. А все остальное пролетает с печальным свистом.

А за этим растет и растет главная беда перестройки — слабое, наивное представление о жизни, сильно разукрашенное понятие добра и псевдомефистофильское представление о зле. В результате — слепая вера в народные массы, которые уже не раз разочаровывали российскую интеллигенцию (см., например, сборник «Из глубины»), но которые по-прежнему непонятны либеральной мысли. История с татаро-монгольских времен накормила их рабским ядом, и никто не захотел найти реального противоядия, и вот опять звучит бессильная нота разочарования.

Но мы говорим о замечательном человеке. Автопортрет молодой Аллы — это «умру, но не дам поцелуя без любви». Это образ обожательницы красивых мужчин (в книге образы мужчин — в основном красавцы), динамистки-недотроги и провокатора мужских желаний. Вслед за Сапгиром она делит действительность на ужасную погоду и прекрасную принцессу. А иначе как жить?

Однако инфантильное время освобождения, где было много искренности и баклажанной икры, изживается не только социально, превращаясь в застой, но и лично.

И уже холодок бежит по коже.

В книге возникает удивительный архетип женского спонтанного предательства, от которого Алла будет мучиться всю дальнейшую жизнь. История первого брака рассказана с таким глубоким отчаянием, что ее хочется перечитывать как универсальный феномен и немедленно забыть как глобальное предупреждение.

Я читал книгу и думал: почему такая беспощадная по отношению к себе взята нота?

Ведь всё в порядке. Честная публицистика до последней строчки. Миллионер по роскоши общения. Действительно, куча друзей во всем мире. Борьба за демократию вместе с Егором Гайдаром. Мечта о счастливой России с либеральным оттенком.

И все-таки недовольство собой. Может быть, потому, что не раскрыт сам источник прекрасной жизни? Не поняты многие шаги Бога, которого, может быть, нет?

Здесь проект человека изначально взят в оптимистической перспективе надежды, под флагом философской антропологии французского, деистского и атеистического, просвещения XVIII века, которое России навредило больше, чем помогло. Поспешные ответы этих древних просветителей на вопросы человеческой природы остались до сих пор основными российскими выводами о человеке. Над этим громко посмеялись наши бандиты 1990-х и наши чекисты 2000-х. Запад давно уже вынес вольтерьянцев на помойку.

Мир западного кино XX века, которое прекрасно знает Алла, очевидно, тоже не справился, несмотря на великие достижения, с загадкой человека. Ее невозможно разгадать, но есть разные формы приближения к ней.

Она так хорошо и много танцевала, так радостно ездила на фестивали, что невольно думаешь: это (отчасти) попрыгунья.

Честная, идейно правильная, но попрыгунья.

А теперь вот зима катит в глаза?

Но это не так. Совсем не так. Потому что Алла для меня — это человек, который, прежде всего, с большой силой сказал России о Холокосте. И хотя Россия не слишком внимательно выслушала эти слова, они имеют историческую силу.

Работа с темой Холокоста — это критерий нашей зрелости. Мы ошибаемся насчет человека настолько, насколько мысль о самой возможности Холокоста не умещается в нашей голове. Алла справилась с этой задачей, хотя Холокост, по ее признанию, заставил ее во всем болезненно видеть следы старого или зачатки нового Холокоста. Алла остается верной русскому языку и преданной памяти о трагедии библейского народа. В этом ее человеческое значение.

Из этой книги можно выбрать множество эпизодов, которые могли бы превратиться в самостоятельные рассказы. Автор замечательно талантлив. Рисунок ковра обладает такой раскраской, что верно: жизнь прекрасна.

Но думая о тех, кто ушел (у меня с Аллой много общих друзей), об усталости сердца, о чекистах и прочих проблемах, понимаешь, насколько прав автор, который видит (описывает) жизнь как чертово колесо, с которого слетают лучшие и остается что-то торжествующе серое. Будущее непонятно. Прошлое непонятно. Настоящее — неприятно. Но есть характер, темперамент, красота автора, которые не могут не восхищать.

*Виктор Ерофеев*



## РАЗГОВОР ДЛИНОЮ В ГОД

*Книга эта писалась долго. Точнее — книга эта рождалась долго, потому что сначала разговаривалась, потом писалась, потом редактировалась, потом отбрасывала лишнее, потом — чересчур личное, потом уточнялась, потом добавлялась, потом утрясалась, потом...*

*Почему писатель и публицист Алла Гербер решила избрать для своей книги такой сложный путь, расскажет она сама.*

*Почему разговор этот Алла Гербер доверила мне? «Нас свел случай» — как принято говорить. Алле понадобился собеседник, общие друзья порекомендовали меня, мы обе вспомнили, что знакомы давно, уже с четверть века, и даже интервью у нас случались. Так что разговор наш длиною в год сразу пошел на «ты».*

*За время нашего разговора случилось многое: уходили в мир иной наши близкие и друзья, приходили новые политические деятели, радовали праздники, ужасал курс валют. Было выпито несколько сот чашек чая и несколько рюмок коньяка. Шоколад и маца, борщи и котлеты, фейсбук и телевизор были свидетелями наших разговоров...*

*Елена Тришина*

## Дом литераторов

Мы с Аллой Гербер решили поговорить о будущей книге в Центральном доме литераторов, кажется, случайно. Просто место удобное — центр города, чужих — никого, любопытствующих тоже быть не должно. Но оказалось, что место это совсем непростое для Аллы. С ним связаны многие судьбоносные эпизоды ее биографии.

*Алла, это правда, что когда-то ты мечтала и не могла попасть в этот Дом? Дом, куда пускали по пропускам особых, творческих работников?*

Ну, не то, чтобы я вообще хотела попасть в Дом литераторов. Я хотела «попасть в писатели». Во всяком случае, для меня это было такое святое место. Здесь было много прекрасных встреч и просто посиделок с друзьями, с коллегами.

Но, кстати, именно в этом месте я пережила и чудовищное разочарование.

Помню, я очень хотела попасть в этот дом, когда в 1963 году здесь показывали фильм Феллини «Восемь с половиной». Меня тогда кто-то провел через подвал и кухню в зрительный зал. И зал был полон. Все знаменитые письменники чуть ли не на потолке висели.

Начался фильм. Смотрю я «Восемь с половиной», ничего не вижу вокруг, только реву чуть ли не в голос на последних кадрах. Я и по сей день плачу, когда идет этот хоровод под музыку Нино Рота. А тогда пошли титры, я поднимаю глаза — и ничего не понимаю: осталось, может быть, четверть зала. Они все разошлись, эти письменники! Они не поняли картину...

*Им сказали, что какой-то закрытый показ, и все?*

Да, закрытый показ. Для избранных. И никого из них в зале не осталось! Я обалдела. Как? Где люди, где пипл? Как Вася Аксенов писал в «Ожоге»: «Пипл, куда вы?» Это

было точное ощущение какого-то безумия. Что же это за мир такой, в который я пытаюсь проникнуть?

Я долго не могла сюда проходить, пока не стала членом Союза писателей. А членом Союза я стала в 1976 году.

Но все же иногда проходила, потому что меня уже знали, проходила с кем-то, пока пропуск не появился. Это же целое событие было — пройти в Дом литераторов.

А в ресторане ЦДЛ, в том самом, где мы с тобой беседуем, однажды был спектакль, который никто не видел и не слышал, кроме меня и Иры Тарковской, первой жены Андрея Тарковского. Год 1975-й. Мы с Ирой сидели, обедали. И тут появляется Марк Розовский, да, ныне известный режиссер, а тогда — начинающий. Естественно, к нам подсаживается со словами: «Девочки, я вам сейчас должен спеть». Я говорю: «Громко будешь петь, так, чтобы все слышали?» — «Нет, я буду негромко, но вы будете все слышать. Я написал музыку на слова Юры Ряшенцева к спектаклю БДТ „Холстомер“».

Представляешь, он нам исполнил все зонги из «Холстомера». То есть весь спектакль он как бы спел за этим столиком ресторана. Мы сидели с Ирой совершенно замороженные и потом бешено ему аплодировали. И с соседних столов тоже стали аплодировать, а он уже не выдержал и стал громко петь.

И еще одно значимое событие случилось 18 января 1990 года. Члены независимой писательской организации «Апрель» — человек шестьсот — собрались в Большом зале на клубное заседание. И сюда, тем же путем, каким когда-то я проникла на фильм «Восемь с половиной», кто-то из отечественных русофилов провел человек семьдесят фашистов. И они, во главе с неким Осташвили, ворвались в зрительный зал с антисемитскими выкриками.

Там началась страшная потасовка.

И тогда мы — человек двадцать — встали на лестнице со словами: «Куда мы бежим? Это наш дом! Это они должны бежать, а мы — остаться!»

В наш адрес последовали угрозы. Потом подросла милиция, началось разбирательство. Я тогда давала бесчисленные интервью в прессе и поклялась: «Сделаю все, чтобы был процесс».

*И был громкий процесс над Остаивили, после которого ты стала широко известна не только как публицист, писатель, но и как общественный деятель. Давай поговорим об этом подробнее чуть позже, когда доберемся до новых времен в нашем разговоре.*

Хочу тебе сказать, что я поняла, что буду сейчас рассказывать только о том, что отчетливо вижу.

*Давай поговорим о том, что у тебя ярко запечатлелось. Это и есть память чувства. Мы же не хронику времени пишем, и придумывать ничего не надо. У тебя сохранились абсолютно явные и живые чувства. С чего начнем, Алла?*

### **«Мы дружной вереницей...»**

Я думаю, все-таки самый простой вариант — это идти по хронологии.

*Ну, вообще, на самом деле детство — это та самая основа, на которую потом все нанизывается. Самое главное, чего редко достигают авторы любых книг, — это сохранение ауры, сохранение запахов времени. Что было первым твоим жизненным, даже не воспоминанием, а впечатлением?*

Первое, что я помню, а это уже, наверное, года в три, значит, страшно сказать (!), в середине тридцатых годов прошлого века, — папины елки. Почему папины? Потому что елку в дом приносил папа. Но она не на Новый год покупалась, а ко дню моего рождения. Я же 3 января родилась, и в этот день у нас должна была стоять самая вы-

сокая елка. И я помню, как утром просыпалась, меня ждал сюрприз — елка, которая обязательно упиралась в потолок. А на ней — море самых разных игрушек, и все сверкало и сияло. Тогда лампочек, по-моему, не было, были маленькие такие игрушечные свечечки. Это первое самое сильное впечатление детства.

Второе самое сильное впечатление — это бабушкины пироги, которые я помню по запаху. Я сейчас совру, если скажу, что помню вкус того раннего детства. Нет, я помню его запахи. Я, конечно, тогда не знала названий, потом поняла, что это запахи корицы и ванили. Еще помню: на весь подоконник — гигантский крендель. Бабушка пекла его, наверное, всю ночь. И вообще у бабушки было такое правило: печь пироги к моему дню рождения только ночью, чтобы ей никто не мешал, — мы же в коммуналке жили. И утром я должна была встать и увидеть этот крендель. Я его помню точно как одно из первых впечатлений. Я его вижу прямо перед собой — на подоконнике, прикрытый салфеточкой...

*Золотистый такой?*

Золотистый, какой-то непростой формы, похожий на вензель и одновременно — на халу. Необыкновенный совершенно, он весь пытел, как будто дышал.

Третье сильное впечатление раннего детства — это первые красивые туфельки, черные лакированные. И голубое платье, вышитое. У мамы была двоюродная сестра, Надя. Говорили, очень красивая. Она была известной манекенщицей в Париже. Вообще, эти девочки из маминой родни — и мама моя, и все ее двоюродные сестры — все были красавицы. И Надя каким-то образом, уж не знаю как, прислала маме воротник из шиншиллы, а мне — черные лакированные туфельки и платье. Воротник я запомнила уже сильно позже, а вот свои туфельки и это платье с веночками вышитыми я вижу перед собой. А я была черненькая, и бант в волосах был голубой. Я себя чувствовала королевой.

Вот это — из самых сильных, самых первых впечатлений. Потом было много всего, но вот самые первые: елка, туфельки и бабушкин крендель.

*Скажи мне, а были какие-то тогда друзья, подружки? Кто-то приходил на день рождения?*

Ну конечно! У меня же подружки до сих пор, как я их называю, — «одноколясочницы». Подружки из нашего дома. У нас был удивительный двор. Там было все на свете: и «Тимур и его команда», которую я собрала, и Красный уголок с драмкружком. Двор был важной частью моей жизни.

*Это где было?*

Фурманский переулок, дом 15. Сам по себе дом очень интересный, раннего конструктивизма, рядом с больницей Гельмгольца. Сейчас таких дворов нет, а мы с самого раннего детства жили во дворе. А когда еще были в коляске, как наши мамы рассказывали, нас по очереди укладывали рядом, не в одну коляску, конечно, а рядом, но, тем не менее, я настаиваю, что мы — одноколясочницы.

Это Оксанка — моя ближайшая подруга, которая жила на шестом этаже. У них была громадная веранда, на самом последнем этаже, на которой мы позже, уже школьниками, танцевали, устраивали первые вечеринки и первые поцелуйчики — все было на этой веранде. А вторая была Нонка, которая и сейчас живет в той же квартире, что и жила. Моя — шестая, а у нее пятая.

*Какое счастье, что она всю жизнь — в одной и той же квартире!*

И они по-прежнему — и Оксанка, и Нонка — мои ближайшие подруги. Сохраненные.

*И тогда мамы вас по очереди катали?*

Мама нас по очереди катали. Интересный случай вспоминаю: в моей квартире жил Юрка Шпитальный. Он был гораздо младше нас, потому что когда началась война, нам было по восемь, а Юрке — годика два, наверное. Однажды его мама оставила Юрку на нас. Он, помню, сидел в колясочке, а она сказала: «Вот вы здесь постоитте, а я сейчас приду». В это время началась тревога, и мы, две идиотки, ничего не помня, побежали в бомбоубежище, забыв про нашего Юрку в коляске. Потом мы вернулись, и я сказала: «Все, Нонна, если нас убьют, то, по крайней мере, есть за что».

*За ребенка?*

Ну да! Мы забыли про этого несчастного ребенка. К счастью, с ним ничего страшного не случилось.

Так вот, все наши дошкольные игры и вся наша дружба потом, когда мы вернулись из эвакуации, — все это было у нас во дворе, я о нем часто вспоминаю. У нас там еще жили ребята — Герда и Хайнц. Они приехали в наш дом вместе с родителями — немецкими коммунистами. Родителей арестовали, а они остались вдвоем. Ему было лет семнадцать, а Герда была нашей ровесницей.

*И детей никуда не выслали?*

Их не выслали, они так и остались жить в какой-то коммуналке. И еще у нас был такой замечательный парень, которого мы все обожали. Ему было тоже лет семнадцать, наверное, но он любил детей и с нами со всеми играл. Алешка Робусов. Ну точно как у Окуджавы: «Во дворе, где каждый вечер все играла радиолоа...». И, когда началась война, Алешка вместе с Хайнцем ушли на фронт. И оба погибли. А Герда, маленькая, осталась. И соседи ее, по-видимому, сдали в детский дом, потому что больше я никогда ничего о ней не слышала. И где она — не знаю.